

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я с гораздо большей подробностью, как увидит читатель, останавливался на формировании Сталина в подготовительный период, чем на его политической роли в настоящее время. Факты последнего периода известны каждому грамотному человеку. Критику политики Сталина я давал в разных работах. Цель этой политической биографии — показать, каким образом сформировалась такого рода личность, каким образом она завоевала и получила право на столь исключительную роль. Вот почему [интересны] жизнь и развитие Сталина в тот период, когда о нем никто или почти никто не знал. Автор занимается тщательным анализом отдельных, хотя и мелких, фактов и свидетельских показаний. Наоборот, при переходе к последнему периоду он ограничивается симфизическим изложением, предполагая факты, по крайней мере важнейшие, известными читателю.

Критики, состоящие на службе Кремля, заявят и на этот раз, как они заявляли по поводу «Истории русской революции», что от-

сутствие библиографических ссылок делает невозможным проверку утверждения автора. На самом деле библиографические ссылки на сотни и тысячи русских газет, журналов, мемуаров, сборников и пр. очень мало дали бы иностранному критику или читателю, а только загромождали бы текст. Что касается русских критиков, то в их распоряжении есть аппарат государственных архивов и библиотек. Если бы в моих писаниях были бы фактические ошибки, неправильные цитаты, неправильное использование материалов, то на это было бы указано давным-давно. На самом деле я не знаю ни в одной антитроцкистской литературе ни одного указания на неправильное использование мною указанных источников. Этот факт, смею думать, дает серьезную гарантию и иностранному читателю.

В своей «Истории» я всячески устранял элементы мемуаров и опирался только на те данные, которые были опубликованы и потому подлежат проверке, в том числе и на свои собственные показания, которые никем не были оспорены в прошлом. В этой биографии автор считает возможным отступить от этого слишком сурового метода. Главная ткань повествования опирается и здесь на документы, мемуары и другие объективные источники. Но в тех случаях, где ничто не может заменить показания памяти самого автора, я считал себя вправе приводить те или другие эпизоды, личные воспоминания,

ясно оговаривая каждый раз, что выступаю в данном случае не только как автор, но и как свидетель.

Автор следовал в этой биографии тому же методу, какому он следовал в своей «Истории русской революции». Многочисленные противники признали, что книга опирается на факты, сгруппированные научным методом. Правда, обозреватель «New York Times» отверг книгу, как пристрастность. Но любая строка его статьи показывает, что он возмущен русской революцией и переносит свое возмущение на ее историка. Это обычная aberrация у всякого рода либеральных субъективистов, находящихся в разладе с ходом классовой борьбы. Недовольные результатом исторического процесса, они осуждают тот научный анализ, который обнаруживает неизбежность этого результата.

Будут ли выводы автора признаны объективными — все или часть их, в конце концов, не так существенно. Гораздо важнее оценка методов. Здесь автор не опасается критики. Он прошел через работу, опираясь на факты и в полной солидарности с документами. Могут, разумеется, встретиться те или другие частичные, второстепенные погрешности или ошибки. Но чего в этой работе никто не найдет, это недобросовестного отношения к фактам, игнорирования документов или произвольных выводов, основанных только на личных пристрастиях. Автор не оставил в стороне ни одного факта, доку-

мента, свидетельства, направленного в пользу героя этой книги. Если внимательное, тщательное и добросовестное собирание фактов, даже мелких эпизодов, проверка свидетельских показаний при помощи приемов исторической и биографической критики, наконец, включение фактов личной жизни и исторического процесса, — если все это не есть объективность, то остается спросить, в чем же собственно она состоит? [Так как] источники сфабрикованы Сталиным, критика источников относится не к технике писания, а к самому существу. Нельзя не подвергая критике детальной всевозрастающей фальсификации, подготовить читателя к пониманию таких явлений, как московские процессы.

В известных кругах охотно говорят и пишут о моей ненависти к Сталину, которая внушает мне мрачные суждения и предсказания. Мне остается по этому поводу только пожимать плечами. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств к Гитлеру или к японскому Микадо. Что было личного, давно перегорело. Уже тот наблюдательный пункт, который я занимал, не позволял мне отождествлять реальную человеческую фигуру с ее гигантской тенью на экране бюрократии. Я считаю себя поэтому

Сталин

вправе сказать, что никогда не возвышал Сталина в своем сознании до чувства ненависти к нему.

Прежде, чем стать царем в Израиле, Давид в отрочестве пас овец. Это не подавило в нем богатых духовных дарований, которые нашли себе в красотах природы сильнейший стимул к развитию. Благодаря искусной игре на арфе он был приглашен ко двору, чтобы музыкой разгонять тоску Саула. Исключительная карьера Давида становится более понятной, если принять во внимание, что почти все сыны полукочевого израильского народа пасли овец и что искусство управления людьми было в ту пору немногим сложнее искусства управления стадами. С тех пор, однако, общество сильно дифференцировалось, династии обособились и специализировались, так что когда один из современных нам монархов увлекся, по примеру царя Давида, некой Вирсавией из Бостона и, вследствие парламентских условий новой эпохи, вынужден был покинуть трон, епископу Кентерберийскому, современному Самуилу, не пришлось искать ему преемника среди пастухов: деликатный вопрос разрешился в порядке династического автоматизма.

Со времени царя Давида человеческая история знала немало ослепительных восхождений, не только в древнем Риме, но и в новой Франции. Дело шло в этих случаях почти исключительно о полководцах. Доказав на поле брани

свою способность командовать вооруженными людьми, они тем увереннее повелевали затем безоружными массами. Это относится к Юлию Цезарю, как и к Наполеону. Правда, так называемый Наполеон III совершенно лишен был военных дарований. Но он не был и простым выскочкой, он был или считался племянником своего дяди, над головой его летал прирученный орел; без этой символической птицы голова принца Луи-Наполеона стоила немного.

Все его инстинкты и чувства перевешивала фантастическая вера в свою звезду и преданность «наполеоновским идеям», бывшим руководящими идеями его жизни. Человек страстный и вместе с тем полный самообладания (по выражению В. Гюго, голландец обуздывал в нем корсиканца), он с юности стремился к одной заветной цели, уверенно и твердо расчищая дорогу к ней и не стесняясь при этом в выборе средств: «Гармония между правительством и народом существует в двух случаях: или народ управляется по воле одного, или один управляется по воле народа. В первом случае это деспотизм, во втором — свобода».

Он нанял пароход, организовал в Лондоне экспедицию и, привлекая на свою сторону нескольких офицеров булонского гарнизона, 6 августа 1840 г. высадился в Булони. Не ограничиваясь костюмом, шляпою и обычными знаками императорского достоинства, Наполеон имел при себе прирученного орла, который, выпу-

щенный в определенный момент, должен был парить над его головою. Но этот момент не наступил, так как вторая попытка окончилась еще плачевнее, чем первая.

Накануне мировой войны даже карьера Наполеона III казалась уже фантастическим отголоском прошлого. Демократия была прочно установлена, по крайней мере в Европе, в Северной Америке и в Австралии. Конституционная механика представительства казалась единственно приемлемой для цивилизованного человечества системой управления. А так как цивилизация продолжала расти и шириться, то будущность демократии казалась несокрушимой. Многие и сейчас еще живут в XIX веке. На самом деле демократия привела к диктатурам.

События в России нанесли первый удар этой исторической концепции. На смену царизму после восьмимесячного интермеццо демократического хаоса пришла диктатура большевиков. Но здесь дело шло об одном из «эпизодов» революции, которая сама казалась лишь продуктом отсталости России, воспроизведение в XX веке тех конвульсий, которые Англия пережила в середине XVII века, а Франция — в конце XVIII. Ленин представлялся московским Кромвелем или Робеспьером. Новое явление можно было, по крайней мере, классифицировать, и в этом заключалось утешение. Вера в незыблемость законов либеральной демократии продолжала оставаться почти незатронутой.

Для Муссолини, как через 11 лет для Гитлера, не так легко было найти историческую аналогию. В цивилизованных странах, прошедших через длительную школу представительной системы, к власти поднялись таинственные незнакомцы, которые в юности занимались почти столь же скромной работой, как Давид или Исаия. За ними не числилось никаких воинских подвигов. Они не возвестили миру никакой новой идеи. За их спиной не стояла тень великого предка в треуголке. Римская волчица не была прабабушкой Муссолини. Свастика не есть фамильный герб Гитлеров, а только плагиат у египтян и индусов. Либерально-демократическая мысль стоит беспомощно перед загадкой фашизма. Но ни Муссолини, ни Гитлер не похожи на гениев. Чем же объясняется их головокружительный успех?

Мелкая буржуазия в нынешнюю эпоху вообще не может выдвинуть ни оригинальных идей, ни самостоятельных вождей. У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражательно. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал большевикам и Муссолини. Таким образом, вожди мелкой буржуазии, зависимые от крупного капитала, являются по самому типу своему вождями второго класса, как мелкая буржуазия, глядеть ли на нее сверху или снизу, занимает всегда второе место. Однако в рамках исторических возможностей Муссолини проявил огромную инициативу, изворотливость, цепкость, изобретательство.

Сталин

Муссолини и Гитлер начали свою борьбу в условиях демократии. Они сталкивались лицом к лицу с противниками. Они спорили на равных правах. Ничего подобного не было в истории восхождения Сталина. Муссолини — это непрерывная импровизация на открытой арене. Муссолини и его сподвижники подражали большевикам, хотя и в прямо противоположном направлении.

Гитлер всегда говорит о своей гениальности. Сталин заставляет об этом говорить других. Сталин, как и Гитлер, как и Муссолини являются по своей нравственной природе *циниками*. Они видят людей с их низшей стороны. В этом их реализм. У Гитлера черты монomanии и мессионизма. У Муссолини ничего, кроме циничного эгоизма. Личная обида играла большую роль в развитии Гитлера, как и Муссолини. Гитлер оказался деклассирован. Евреи равнялись социал-демократам. Гитлер хотел подняться выше на этом пути, создал себе *теорию* и ее держался.

Гитлер особенно настаивает на том, что только живое устное слово характеризует вождя. Никогда, по его словам, статья не может повлиять на массы так, как речь. Во всяком случае, не может создать постоянной живой связи между вождем и его миллионами последователей. Суждение Гитлера определяется, вероятно, в значительной мере тем, что он не умеет писать. Маркс и Энгельс приобрели миллионы последователей, не прибегая за всю свою жизнь к оратор-

скому искусству. Правда, им для приобретения влияния понадобились многие годы. Искусство писателя, в конце концов, выше, ибо оно позволяет соединять глубину с высокой формой. Те политические деятели, которые были только ораторами, отличались всегда поверхностностью. Оратор не создает писателей. Наоборот, великий писатель может вдохновить тысячи ораторов. Но верно то, что для непосредственной связи с массой необходима живая речь.

Новое время принесло новую политическую мораль. Но, странное дело, красный ветер возвращает нас во многих отношениях к эпохе Возрождения, или даже далеко превосходит ее по масштабу своих жестокостей и зверств. Объявляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает грандиозный характер. Уже при дворе римских императоров эпохи упадка были специалисты по ядам разного типа, яды, которые убивают на месте, убивают медленно или которые лишают рассудка, не ускоряя смерти. Агриппина, мать Нерона, пользовалась услугами Локусты, женщины, весьма искушенной в отравлении. Ее услуги для поддержания порядка были так велики, что ее называли инструментом Рекни, т. е. орудием власти. Евнух по имени Халотус подавал гостям отравленные ею блюда и тут же пробовал их. Доверие при римском дворе не было очень высоко, как и в нынешнем Кремле. Предусмо-

трительная Агриппина сумела заручиться соучастием придворного врача Ксенофона, этот врач по особому понимал свои обязанности: чтоб вызвать у императора Клавдия, мужа Агриппины и отчима Нерона, рвоту, он ввел ему в горло перышко, смоченное ядом.

«Хроники XV столетия, — говорит благочестивый историк пап, Пастор, — полны необыкновенных появлений и атмосферических возмущений, плохих урожаев, землетрясений и эпидемий». Как и в эпоху Возрождения, жизнь вовсе не окрашена одной краской измен и коварства, отравлений и подлогов. Что характеризовало эпоху Возрождения, это резкие контрасты «во всех областях: хорошее и плохое оказывались чрезвычайно спутанными в итальянских государствах XV-го столетия». Эпоха Возрождения характеризовалась исключительным развитием индивидуализма, но число индивидов, которые могли позволять себе индивидуализм, было ограничено и часто сводилось к одному лицу.

Эпоха Возрождения — XV столетие, точнее сказать, вторая половина XV столетия и начало XVI. Когда во всех областях жизни происходили и обнаруживались глубокие изменения, старые нормы отношений и, тем самым, нормы морали изжили себя. Новые нормы еще не установились. «Как раз во второй половине XV столетия внимательному наблюдателю открывается ужасающая коррупция в политических отно-

шениях Италии... Искусство управления выродило систему клятвопреступлений и измен, согласно которой считалось наивностью и глупостью выполнение договоров; со всех сторон приходилось бояться хитрости и насилия, подозрительность и недоверие отравляли отношения между главами государств» (Пастор, «История пап»). Эту разрушительную систему усвоили себе великие сеньоры этой эпохи: Франциск и Людовик Сфорты, Лоренцо Медичи, Александр VI (Борджиа), Цезарь Борджиа и другие. В военной области этот век был временем авантюристов-полководцев, называвшихся кондотьерами. Пастор пишет: «С ужасом выступало сатанинское злорадство Ерранте, который смеялся от удовольствия, потирая свои руки, когда думал о хорошо охраняемых в его тюрьмах пленниках, которых он оставлял в томительной неизвестности относительно предстоявшей им судьбы». Это было в Риме, когда кардиналы писали порнографические комедии, а папы ставили их при своем дворе. «Бесстыдным являлся также способ, в каком государство пользовалось убийством, которое было особенно в Венеции излюбленным методом избавления от врагов, как внешних, так и внутренних. Решение насчет убийств обсуждались и постановлялись в заседаниях правительственных советов». Фонтано писал: «В Италии ничто не имеет меньшей цены, чем человеческая жизнь».

«Из этих условий вырастали зловещие фигуры, которые соединяли с самой изысканной культурой преступную дерзость, злобную хитрость и презрение ко всем моральным законам. Люди, типом которых является Николай Макиавелли» (Пастор). Официальная средневековая мораль покорности и смирения сменилась честолюбием и славолубием. «Неограниченный индивидуализм, которому столь сильно благоприятствовало ложное Возрождение, породил кроме славолубия много других губительных пороков, именно: расточительность, роскошь, игру (азарт), жажду мести, ложь и подлог, безнравственность, преступление и человекоубийства, религиозные безразличия, неверие и суеверие» (Пастор). К числу этих отталкивающих характеров Пастор относит Сигизмунда Малатеста и, до известной степени, Цезаря Борджиа. «Ужасная безнравственность семьи Борджиа ни в каком случае не была изолированным явлением; почти все дворяне Италии жили подобным же образом... Домашние жестокости, казалось, не имели конца... Законные и незаконные принцы бежали, покидали двор, но и в других странах они находились под угрозой специально подосланных убийц».

Цезарь Борджиа: авантюрист, полководец, государственный человек, кардинал-расстрига, сын римского папы. В борьбе с другими авантюристами-кондотьерами Цезарь Борджиа выходил в большинстве случаев победителем.

«Но, — говорит Британская энциклопедия, — он не был несомненно гениальным человеком, как в течение многого времени воображали, и его успехи были обязаны, главным образом, поддержке папского престола; как только его отец умер, его карьера пришла к концу и он не мог больше играть видной роли в делах Италии. Его падение показывает, на каком нездоровом фундаменте была воздвигнута его система».

Многое из того, что приписывали Цезарю Борджиа и его сестре Лукреции, несомненно или почти несомненно ложно. Имена их до известной степени стали собирательными. Но, разумеется, народная молва, как и догадки хронистов и историков, не случайно приписывали преступления именно этим людям. Когда незримая Лукреция Борджиа отравляет за ужином своих врагов и появляется к моменту их смерти, она говорит у Гюго: «Вы не ожидали этого, черт возьми, мне кажется, что я отомщаю, что вы скажете на это, господа? Кто из вас понимает людей мести? Ведь это не плохо, я думаю! А, что вы думаете об этом для женщины!»

Цезарь Борджиа, несмотря на то, что имя его сделалось синонимом вероломства и кровавой жестокости, не может считаться чудовищным исключением в среде феодальных властителей XV столетия не только одной Италии, но и Европы вообще. «Каждый понимает, — говорит Макиавелли, давший идеальный портрет Цезаря Борджиа в своем знаменитом

произведении „О государстве“, — сколь похвально для государства сохранять верность, действовать правдиво, без коварства, но опыт нашего времени убеждает нас, что только тем государям удастся совершать великие дела, которые не хранят своего слова, которые умеют обмануть других и победить доверившихся их „честности“. Но никто не обнаружил такую неутомимую последовательность и стойкость в достижении своих целей, такое полное отсутствие совести и безразличие к злодеяниям вместе с демонским сознанием своего превосходства и призвания властвовать, как Цезарь Борджиа».

Сопоставление с Борджиа и другими фигурами Возрождения надо все-таки ограничить. Борджиа, Борза, Медичи были яркими личностями, в которых сочетались противоречия: честолюбие и беззаботность, легкомыслие и беспощадность, свирепость и великодушие. На всем Ренессансе лежат редкие черты. Это был период пробуждения новой индивидуальности в слое молодой буржуазной интеллигенции и бюрократии. С того времени много воды утекло. Буржуазное общество постарело. Оно прошло через период массовых организаций, связанных внутренней дисциплиной.

Чтоб быть похожим на сверхчеловека эпохи Возрождения, Сталину не хватает красок, личности, размаха, соображения, капризного великодушия. В ранней молодости, после того как он оказался вынужден покинуть семинарию

за неуспешность, он одно время служил в тифлисской обсерватории бухгалтером. Хорошо ли он вел приходно-расходные книги обсерватории, осталось неизвестным. Но бухгалтерский расчет он внес в политику и в свои отношения к людям. Его честолюбие, как и его ненависть, подчинены строгому расчету. Люди Возрождения были дерзки, Сталин — осторожен. Он долго носит свою ненависть, пока она не превращается в отстой. Его месть имеет гигантский размах потому, что он стоит не на земле, а наверху самого грандиозного из всех аппаратов. Аппаратом же Сталин овладел, так как был неизменно верен ему. Он изменял партии, государству, программе, но не бюрократии.

Николай Макиавелли — самый гениальный представитель ложного Возрождения, по словам Пастора. «Опыт показывает, — писал Макиавелли, — что великие дела совершают те, которые умеют подчинять себе людей посредством хитрости или насилия... Когда дело идет о спасении отечества, нельзя обращать внимание ни на какие трудности и на то, справедливо ли это или несправедливо, гуманно или жестоко, похвально, заслуживает порицания, но, оставляя в стороне все другие критерии, надо прибегать исключительно к тому средству, которое может спасти жизнь и сохранить свободу отечества». Именно в переходные эпохи, когда надо ломать старое и строить новое, государственная власть обнаруживает всю свою силу. Взгляд на госу-

дарство, как на массивного третейского судью, который вмешивается, когда его об этом просят, кажется в такие эпохи смешным и ничтожным. Государство достигает высшей степени напряжения и становится ироническим, разрушает и строит. Именно этот взгляд на государство был у Макиавелли.

Законы политической механики, которые сформулировал Макиавелли, в течение долгого времени считались выражением предельного цинизма. Макиавелли рассматривает задачи борьбы за власть как шахматную теорему. Вопросы морали не существуют для него, как они не существуют для шахматиста, как они не существуют для бухгалтера, задача которого состоит в том, чтобы сделать наиболее целесообразное в данном положении.

Италия XV столетия была передовой страной капитализма. Мелкие итальянские государства в то время были детскими башмаками молодого капитализма. Государства терлись друг о друга, как камни в тесном мешке. Принцы, герцоги и короли постоянно боролись, интриговали и меняли границы своих государств. Нынешняя Европа, Европа капиталистического заката, во многом напоминает Италию капиталистического детства, только масштабы неизмеримо более велики.

Римские преторианцы, стоявшие над народом и, в известном смысле, над государством, нуждались в императоре, как в высшем судье,

так и бюрократия, ставшая над народом и Советами, нуждалась в вожде. За пожар Рима, который приписывали злой воле самого Нерона, отвечали христиане, которые вообще были козлами отпущения за все бедствия его царствования. Роль козла отпущения, которую у Нерона играли христиане, а у Гитлера играют евреи, у Сталина выполняют так называемые троцкисты. Власть Сталина представляет собою современную форму цезаризма. Она является почти незамаскированной монархией, только без короны и пока без наследственности. В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, видя себя вынужденным отдаться под власть Москвы. В начале XX века маленькая Грузия навязала Москве своего собственного царя.

В течение XIX века, который был веком парламентаризма, либерализма и социальных реформ (если закрыть глаза на войны и на гражданские войны), Макиавелли считался давно позади. Честолюбие было введено в парламентские рамки и, вместе с тем, — разграблено. Дело шло уже не о том, чтоб захватить власть одному лицу полностью и целиком, а о том, чтоб захватить мандаты в избирательном округе, портфель министерский. Макиавелли казался идеологом далекого прошлого. Новое время принесло новую, более высокую политическую мораль.

Но, поразительное дело, XX век возвращает нас во многих отношениях к методам эпохи

Возрождения и даже далеко превосходит их по масштабу своих жестокостей и зверств. Появляются снова политические кондотьерии. Борьба за власть принимает личный характер и грандиозный масштаб. Принципы Макиавелли, которые всегда, даже в период процветания либерализма и реформ, составляли основу политической механики, получают теперь снова открытое и циничное выражение. Этот рецидив наиболее жестокого макиавеллизма кажется непонятным тому, кто до вчерашнего дня исходил из уверенности, что человеческая история движется по восходящей линии материального и культурного прогресса. Но мы можем сказать теперь: ни одна эпоха прошлого не была так жестока, беспощадна, цинична, как наша эпоха. Политическая мораль вовсе не поднялась по сравнению с эпохой Возрождения или с другими, еще более отдаленными эпохами.

Эпоха Возрождения была эпохой борьбы двух миров; социальные антагонизмы достигли крайнего напряжения. Отсюда напряжение политической борьбы, которая не допускала роскоши прикрываться или ограничивать себя моральными принципами... Во второй половине XIX века политическая мораль так высоко поднялась над материализмом, или воображением господ-политиков, только потому, что социальные антагонизмы на время смягчились, политическая борьба разменялась на мелкую монету, а основой этого был рост благосостоя-

ния и некоторые улучшения положения верхов трудящихся. Наш период, наша эпоха, похожа на эпоху Возрождения в том смысле, что мы живем на грани двух миров: буржуазного, капиталистического, который переживает агонию, и того нового мира, который идет ему на смену. Социальные противоречия снова достигли исключительной остроты. Политическая борьба сконцентрировалась и не может позволить себе роскоши прикрываться правилами морали.

Политическая власть, как и мораль, вовсе не совершенствуется непрерывно, как думали в конце прошлого и в первое десятилетие нынешнего столетия. Политика и мораль имеют в высшей степени сложную и противоречивую орбиту. Политика, как и мораль, находится в прямой зависимости от классовой борьбы; как общее правило, можно сказать, что чем острее и напряженнее классовая борьба, чем глубже социальный кризис, — тем более напряженный характер получает политика, тем концентрированное и беспощаднее становится государственная власть и тем откровеннее она сбрасывает с себя покровы морали.

Некоторые из моих друзей обращали мое внимание на то, что слишком большое место в моей работе занимают ссылки на источники и критика источников. Я отдавал и отдаю себе ясный отчет в неудобствах такого метода изложения. Но у меня не оставалось выбора. Никто не обязан верить автору, столь близко заинтере-

Сталин

сованному, столь непосредственно участвующему в борьбе с тем лицом, биографию которого он оказался вынужденным писать. Наша эпоха есть эпоха лжи, по преимуществу. Я не хочу этим сказать, что другие эпохи человечества отличались большей справедливостью. Ложь вытекает из противоречий, из борьбы, из столкновения классов, из подавления личности обществом; в этом смысле она составляла аккомпанемент всей человеческой истории. Но бывают периоды, когда социальные противоречия принимают исключительную остроту, когда ложь поднимается над средним уровнем, ложь приходит в соответствие с остротой социальных противоречий. Такова наша эпоха. *Я не думаю, что во всей человеческой истории можно найти что-нибудь, хотя бы в отдаленной степени похожее на ту гигантскую фабрику лжи, которая организована Кремлем под руководством Сталина, причем одной из главнейших работ этой фабрики является создание Сталину новой биографии.*

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Покойный Леонид Красин, старый революционер, видный инженер, блестящий советский дипломат и, прежде всего, умный человек, первым, если не ошибаюсь, прозвал Сталина «азиатом». Он имел при этом в виду не проблематические расовые свойства, а то сочетание выдержки, проницательности, коварства и жестокости, какое считалось характерным для государственных людей Азии. Бухарин упростил впоследствии эту кличку, назвав Сталина «Чингисханом», очевидно, чтоб выдвинуть на первый план жестокость, развившуюся до зверства. Однако и сам Сталин в беседе с японским журналистом назвал себя однажды «азиатом», но уже не в старо-, а в новоазиатском смысле: он хотел в этой персональной форме намекнуть на наличие у СССР общих интересов с Японией против империалистского Запада. Если отнестись к кличке «азиат» под научным углом зрения, то придется признать, что она в интересующем нас случае правильна только отчасти. По своей географии Кавказ, особенно

Закавказье, является несомненным продолжением Азии. Однако грузины, в отличие от монголов-азербайджанцев, принадлежат к так называемой средиземной, европейской расе. Сталин был, следовательно, неточен, когда называл себя азиатом. Однако география, этнография и антропология не исчерпывают вопроса: над ними возвышается история.

В долинах и горах Кавказа удержались брызги человеческого потока, переливавшегося в течение столетий из Азии в Европу. Отдельные племена и группы как бы застыли здесь в своем развитии, превратив Кавказ в гигантский этнографический музей. В течение долгих столетий судьба этих народов оставалась тесно связанной с судьбой Персии и Турции и удерживалась, таким образом, в сфере староазиатской культуры, которая умудрялась оставаться неподвижной, несмотря на постоянные встряски мятежей и войн.

В другой менее пересеченной местности маленькая грузинская ветвь человечества — около 2,5 миллиона в настоящее время — растворилась бы, вероятно, бесследно в историческом тигле. Под защитой Кавказского горного хребта грузины сохранили в сравнительно чистом виде свою этническую физиономию и свой язык, которому филология, кажется, и до сих пор затрудняется найти законное место. Письменность возникает в Грузии уже в IV столетии, одновременно с проникновением христианства, на шестьсот

лет раньше, чем в Киевской Руси. X—XIII века считаются эпохой расцвета военной мощи Грузии, ее литературы и искусства. Затем следуют столетия застоя и упадка. Многократные кровавые набеги Чингис-хана и Тамерлана на Кавказ оставили свои следы в народном эпосе Грузии. Если верить несчастному Бухарину, они оставили следы и в характере Сталина.

В начале XVIII века грузинский царь отдался под власть Москвы, ища защиты от исконных своих врагов, Турции и Персии. Прямая цель была достигнута, жизнь стала обеспеченнее. Царское правительство провело в Грузии необходимые стратегические дороги, обновило отчасти города и создало элементарную сеть школ, прежде всего, в целях русификации инородческих подданных. Однако петербургская бюрократия не могла, конечно, вытеснить в течение двух столетий староазиатское варварство европейской культурой, в которой Россия еще весьма нуждалась сама.

Несмотря на природные богатства и благословенный климат, Грузия продолжала оставаться отсталой и бедной страной. Ее полуфеодальные отношения опирались на низкую материальную базу и потому отличались чертами азиатской патриархальности, которая не исключала азиатской жестокости. Промышленность почти не существовала. Обработка почвы и строительство жилищ производились почти так же, как две тысячи лет тому назад. Вино

выдавливало ногами и хранилось в больших глиняных кувшинах. Города Кавказа, сосредоточивавшие в себе не более шестой части населения, оставались, подобно городам Азии, чиновничьими, военными, торговыми и лишь в небольшой степени ремесленными центрами. Над основной крестьянской толщей возвышался слой дворян, в большинстве своем небогатых и малокультурных, отличавшихся от верхнего слоя крестьян подчас только пышным титулом и претензиями. Не напрасно Грузию, с ее маленьким «могуществом» в прошлом, с ее экономическим застоєм в настоящем, с ее благодатным солнцем, виноградниками, беспечностью, наконец, с ее обилием провинциальных гидальго с пустыми карманами, называли Испанией Кавказа.

Молодое поколение дворян стучалось в двери университетов и, порывая с тощей сословной традицией, которую не очень брали всерьез в центральной России, примыкало к радикальным группировкам русского студенчества. За дворянскими семьями тянулись более зажиточные крестьяне и мещане, сгоравшие честолюбием сделать из своего сына либо чиновника, либо офицера, либо адвоката, либо священника. В результате Грузия обладала крайне многочисленной интеллигенцией, которая во всех прогрессивных политических движениях и в трех революциях играла заметную роль в разных частях России.

Немецкий писатель Боденштедт (Bodenstedt), служивший мимоходом в 1844 г. директором учительского института в Тифлисе, пришел к выводу, что грузины не только неопрятны и беззаботны, но и менее интеллигентны, чем другие кавказцы; в школах они будто бы уступают армянам и татарам в изучении наук, усвоении иностранных языков и способности изъяснения. Цитируя этот слишком поспешный отзыв, Элизе Реклю высказал совершенно правильное предположение, что различие могло объясняться не национальными, а социальными причинами: учащиеся-грузины — выходцы отсталой деревни, армяне — дети городской буржуазии. Дальнейшее развитие, действительно, скоро стерло это различие. В 1892 году, когда Иосиф Джугашвили учился во втором классе духовного училища, грузины, составлявшие примерно восьмую часть кавказского населения, выдвигали из своей среды почти пятую часть всех учащихся (русские — свыше половины, армяне — около четырнадцати процентов, татары — менее трех...). Правда, особенности грузинского языка, одного из древнейших орудий культуры, видимо, действительно затрудняют усвоение иностранных языков, налагая тяжелый отпечаток на произношение. Но никак нельзя согласиться, будто грузины лишены дара свободной речи. При царизме они, как и другие народы Империи, были обречены на молчание. Однако по мере «европеизации» России, грузинская ин-

теллигенция выдвинула ряд если не первоклассных, то выдающихся ораторов судебной, а затем и парламентской трибуны. Наиболее красноречивым из вождей Февральской революции был, пожалуй, грузин Ираклий Церетели. Нет поэтому надобности объяснять национальным происхождением отсутствие у Сталина ораторских качеств. И по физическому типу он вряд ли представляет счастливый экземпляр своего народа, который считается самым красивым на Кавказе.

Национальный характер грузин изображается обычно как доверчивый, впечатлительный, вспыльчивый и в то же время лишенный энергии и предприимчивости. Реклю выдвигает на первый план веселость, общительность и прямоту. С этими качествами, которые действительно бросаются в глаза при личных встречах с грузинами, характер Сталина мало вяжется. Грузинские эмигранты в Париже заверяли Суварина, автора французской биографии Сталина, что мать Иосифа Джугашвили была не грузинкой, а осетинкой и что в жилах его есть примесь монгольской крови. В противоположность этому некий Иремашвили, с которым нам предстоит еще встретиться в дальнейшем, утверждает, что мать была чистокровной грузинкой, тогда как осетином был отец, «грубая, неотесанная натура, как все осетины, которые живут в высоких кавказских горах». Проверить эти утверждения трудно, если не невозможно. Вряд ли, однако,

в этом есть необходимость для объяснения моральной фигуры Сталина. В странах Средиземного моря, на Балканах, в Италии, в Испании, наряду с так называемыми «южными» характерами, соединяющими ленивую беззаботность со взрывчатой вспыльчивостью, встречаются холодные натуры, в которых флегматизм сочетается с упорством и коварством. Первый тип господствует, второй его дополняет как исключение. Похоже на то, как если бы основные элементы характера были отпущены каждой национальной группе в соответственном количестве, но под южным солнцем оказались распределены еще менее гармонично, чем под северным. Не станем, однако, вдаваться в неблагоприятную область национальной метафизики.

Уездный город Гори живописно расположен на реке Куре, в 76 километрах от Тифлиса, по закавказской железной дороге. Один из старейших городов Грузии, Гори имеет за собой драматическую историю. Его основали по преданию в XII веке армяне, искавшие убежища от турок. Городок неоднократно подвергался затем разграблению, так как армяне, и в ту пору уже главным образом — городской торговый класс, отличались большей зажиточностью и представляли лакомую добычу. Как все азиатские города, Гори рос медленно, привлекая постепенно в свои стены выходцев из грузинской и татарской деревни. К тому времени, когда сапожник

Виссарион Джугашвили переселился сюда из родной деревни Диди-Лило, городок имел тысяч шесть смешанного населения, несколько церквей, много лавок и духанов для крестьянской периферии, учительскую семинарию с татарским отделением, женскую прогимназию и четырехклассное училище.

Крепостное право было уничтожено в Тифлисской губернии всего за 14 лет до рождения Иосифа, будущего генерального секретаря. Пережитки рабства пропитывали собой социальные отношения и нравы. Вряд ли родители умели читать и писать. Правда, в Закавказье выходило пять ежедневных газет на грузинском языке; но совокупный их тираж не достигал и четырех тысяч экземпляров. Крестьянство жило еще внеисторической жизнью.

Бесформенные улицы, далеко разбросанные дома, фруктовые сады придавали Гори вид большой деревни. Дома городских бедняков, во всяком случае, мало отличались от крестьянских жилищ. Джугашвили занимали старую мазанку с кирпичными углами и песчаной крышей, которая давно уже начала пропускать ветер и дождь. Бывший соученик Иосифа, Д. Гогохия, описывает обиталище семьи: «Их комната имела не более девяти квадратных аршин и находилась около кухни. Ход со двора прямо в комнату, ни одной ступеньки. Пол был выложен кирпичом, небольшое окно скупо пропускало свет. Вся обстановка комнаты состояла из маленького стола,

табуретки и широкой тахты, вроде нар, покрытой „чилопи“ — соломенной циновкой». К этому позже прибавилась старая шумная швейная машина матери.

О семье Джугашвили и о детстве Иосифа не опубликовано до сих пор никаких подлинных документов. Да и вряд ли они многочисленны. Культурный уровень среды был таков, что жизнь протекала вне письменности и почти не оставляла следов. Только после того, как самому Сталину перевалило уже за 50 лет, стали появляться воспоминания об отцовской семье. Они писались либо ожесточенными и не всегда добросовестными врагами, обычно из вторых рук, либо подневольными «друзьями», по инициативе — можно бы сказать по заказу — официальных комиссий по истории партии, и потому являются, в большей своей части, упражнениями на заданную тему. Было бы, конечно, слишком просто искать правду по диагонали между этими двумя искажениями. Однако, сопоставляя их друг с другом, взвешивая умолчания одних и преувеличения других, критически оценивая внутреннюю связь самого повествования в свете дальнейших событий, можно до некоторой степени приблизиться к истине. Не гонясь за искусственно законченными картинками, мы постараемся представить читателю попутно те материальные элементы, на которые опираются наши выводы или догадки.

Сталин

Наибольшей подробностью отличаются воспоминания уже упомянутого выше И. Иремашвили, вышедшие в 1932 году на немецком языке в Берлине, под заглавием «Stalin und die Tragödie Georgiens». Политическая фигура автора, бывшего меньшевика, ставшего затем чем-то вроде национал-социалиста, сама по себе не внушает большого доверия. Тем не менее невозможно пройти мимо этого очерка. Некоторые страницы его отличаются бесспорной внутренней убедительностью. Даже сомнительные на первый взгляд эпизоды находят прямое или косвенное подтверждение в официальных воспоминаниях, опубликованных лишь несколько лет спустя. Может быть позволено будет сослаться и на то, что отдельные догадки, к которым автор этого труда пришел на основании умолчаний или уклончивых выражений советской литературы, нашли себе подтверждение в книге Иремашвили, с которой мы имели возможность познакомиться лишь в самый последний момент. Было бы ошибочно полагать, что Иремашвили, в качестве изгнанника и политического врага, стремится умалить фигуру Сталина или окрасить ее в сплошной черный цвет. Наоборот, он почти восторженно и с явным преувеличением рисует его способности; признает его готовность приносить своим идеалам личные жертвы; неоднократно подчеркивает его привязанность к матери и почти трогательными чертами изображает его первый брак. При бо-

лее пристальном рассмотрении воспоминания этого бывшего учителя тифлисской гимназии порождают впечатление документа, состоящего из разных наслоений. Основу составляют, несомненно, воспоминания далекого детства. Однако эта основа подверглась неизбежной ретроспективной обработке памяти и фантазии под влиянием позднейшей судьбы Сталина и политических взглядов самого автора. К этому надо прибавить наличие в воспоминаниях сомнительных, хотя, по существу, безразличных деталей, которые можно отнести на счет столь частого у известной категории мемуаристов стремления придать своим очеркам «художественную» законченность и полноту. С этими предупреждениями мы считаем вполне возможным опереться в дальнейшем на воспоминания Иремашвили.

Более ранние биографические справки неизменно говорили о Сталине как сыне крестьянина из деревни Диди-Лило. Сам Сталин в 1926 году впервые назвал себя сыном рабочего. Примирить это противоречие нетрудно: как и большинство рабочих России, Джугашвили-отец по паспорту продолжал числиться крестьянином. Но этим затруднения не исчерпываются. Отец называется неизменно «рабочим обувной фабрики Алиханова в Тифлисе». Однако семья жила в Гори, а не в столице Кавказа. Значит ли это, что отец жил врозь от семьи? Такое предположение было бы законно, если бы семья

оставалась в деревне. Но совершенно невероятно, чтобы кормилец семьи и сама семья жили в разных городах. К тому же Гогохия, товарищ Иосифа по духовному училищу, живший в одном с ним дворе, как и Иремашвили, часто навещавший его, прямо говорит, что Виссарион работал тут же, на Соборной улице, в мазанке с протекавшей крышей. Естественно поэтному предположить, что отец лишь временно работал в Тифлисе, может быть, еще в тот период, когда семья оставалась в деревне. В Гори же Виссарион Джугашвили работал уже не на обувной фабрике — в уездном городе фабрик не было, — а как самостоятельный мелкий кустарь. Умышленная неясность в этом пункте продиктована несомненно стремлением не ослаблять впечатление от «пролетарской» родословной Сталина.

Как большинство грузинок, Екатерина Джугашвили стала матерью в совсем еще юном возрасте. Первые трое детей умерли во младенчестве. 21-го декабря 1879 года родился четвертый ребенок, матери едва исполнилось двадцать лет. Иосифу шел седьмой год, когда он заболел оспой. Следы ее остались на всю жизнь свидетельством подлинно плебейского происхождения и культурной отсталости среды. К рябинкам на лице Суварин, французский биограф Сталина, прибавляет еще худосочие левой руки, которое вместе с двумя сросшимися пальцами ноги должно, по его сведениям, служить доказательством алкогольной наследственности с отцов-

ской стороны. Вообще говоря, сапожники, по крайней мере в центральной России, настолько славились пьянством, что вошли в поговорку. Трудно, однако, судить, насколько верны сообщения о наследственности, сообщенные Суварину «разными лицами», вернее всего — меньшевиками-эмигрантами. В составлявшихся жандармами перечнях «примет» Иосифа Джугашвили нет совсем указания на сухорукость; сросшиеся пальцы ноги были отмечены однажды полковником Шабельским в 1902 году. Возможно, что жандармские документы, как и все другие, подверглись до печатания цензурной чистке, не вполне тщательной. Нельзя не отметить, с другой стороны, что в позднейшие годы Сталин время от времени носил на левой руке теплую перчатку даже на заседаниях Политбюро. Причину этого видели обычно в ревматизме. Но в конце концов эти второстепенные физические признаки, действительные или мнимые, вряд ли представляют сами по себе большой интерес. Гораздо важнее попытаться восстановить действительные образы родителей и атмосферу семьи.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что официально собранные воспоминания обходят почти полным молчанием фигуру Виссариона, сочувственно останавливаясь в то же время на трудовой и тяжелой жизни Екатерины. «Мать Иосифа имела скудный заработок, — рассказывает Гогохия, — занимаясь стиркой белья и вы-

печкой хлеба в домах богатых жителей Гори. За комнату надо было платить полтора рубля». Мы узнаем таким образом, что забота об уплате за квартиру лежала на матери, а не на отце. И дальше: «Тяжелая трудовая жизнь матери, бедность сказывались на характере Иосифа», — как если бы отец не принадлежал к семье. Только позже автор вставляет мимоходом фразу: «Отец Иосифа — Виссарион — проводил весь день в работе, шил и чинил обувь». Однако работа отца не приводится ни в какую связь с жизнью семьи и ее материальным уровнем. Получается впечатление, будто об отце упомянуто лишь для заполнения пробела. Глурджидзе, другой товарищ по духовному училищу, уже полностью игнорирует отца, когда пишет, что заботливая мать Иосифа «зарабатывала на жизнь кройкой, шитьем и стиркой белья». Эти неслучайные умолчания заслуживают тем большего внимания, что нравы народа далеко не отводили женщине руководящего места в семье. Наоборот, по старым грузинским традициям, очень вообще упорным в консервативной среде горцев, женщина оставалась на положении домашней полурабыни, почти не допускалась в среду мужчин, не имела права голоса в семейных делах, не смела наказывать сына. Даже в церкви жены и сестры располагались позади отцов, мужей и братьев. То обстоятельство, что авторы воспоминаний заслоняют фигуру отца фигурой матери, не может быть истолковано

иначе, как стремлением уклониться от характеристики Виссариона Джугашвили. Старая русская энциклопедия, отмечая крайнюю воздержанность грузин в пище, прибавляет: «Едва ли какой-либо другой народ в мире пьет столько вина, сколько его выпивают грузины». Правда, с переселением в Гори Виссарион вряд ли сохранил собственный виноградник. Зато в городе духаны были под рукой, и с виноградным вином успешно конкурировала водка.

В этой связи особую убедительность приобретают показания Иремашвили. Как и другие авторы воспоминаний, но раньше их на пять лет, он с теплой симпатией характеризует Екатерину, которая с большой любовью относилась к единственному сыну и с приветливостью — к его товарищам по играм в школе. Прирожденная грузинка, Кеке, как ее обычно прозывали, была глубоко религиозна. Ее трудовая жизнь была непрерывным служением: богу, мужу, сыну. Зрение ее ослабело из-за постоянного шитья в полутемном помещении, и она рано начала носить очки. Впрочем, кавказская женщина за тридцать лет считалась уже почти старухой. Соседи относились к ней с тем большей симпатией, что жизнь ее сложилась крайне тяжело. Глава семьи, Безо (Виссарион), был, по словам Иремашвили, сурового нрава и притом жестокий пьяница. Большую часть своего скудного заработка он пропивал. Вот почему заботы о квартирной плате и вообще о содержании се-

мы ложились двойной ношей на мать. С бес- сильной скорбью наблюдала Кеке, как Безо своим отношением к ребенку «изгонял из его сердца любовь к богу и людям и сеял отвращение к собственному отцу». «Незаслуженные, страш- ные побои сделали мальчика столь же суровым и бессердечным, как был его отец». Иосиф стал с ожесточением размышлять над проклятыми загадками жизни. Ранняя смерть отца не причи- нила ему горя; он только почувствовал себя сво- боднее. Иремашвили делает тот вывод, что свою затаенную вражду к отцу и жажду мести мальчик с ранних лет начал переносить на всех тех, кто имел или мог иметь какую-либо власть над ним. «С юности осуществление мстительных замыс- лов стало для него целью, которой подчинялись все его усилия». Даже с неизбежным элементом ретроспективной оценки, эти слова сохраняют всю свою значительность.

В 1930 году, когда ей был уже 71 год, Екате- рина, жившая в то время в Тифлисе, в бывшем дворце наместника, в скромной квартире одного из служащих, отвечала через переводчика на во- просы журналистов: «Сосо (Иосиф) всегда был хорошим мальчиком... Мне никогда не приходи- лось наказывать его. Он усердно учился, всег- да читал или беседовал, пытаясь понять всякую вещь... Сосо был моим единственным сыном. Конечно, я дорожила им... Его отец Виссари- он хотел сделать из Сосо хорошего сапожника. Но его отец умер, когда Сосо было одиннадцать

лет... Я не хотела, чтоб он был сапожником. Я хотела одного, чтоб он стал священником». Суварин собрал, правда, совсем другие сведения среди грузин в Париже: «Они знали Сосо уже жестким, нечувствительным, относившимся без уважения к матери и приводят в подтверждение своих воспоминаний достаточно щекотливые факты». Сам биограф отмечает, однако, что источником этих сведений являются политические враги Сталина. В этой среде тоже ходит, конечно, немало легенд, только с обратным знаком. Наоборот, Иремашвили с большой настойчивостью говорит о горячей привязанности, которую Сосо питал к матери. Да и не могло быть у мальчика других чувств к кормилице семьи и защитнице от отца.

Немецкий писатель Эмиль Людвиг, придворный портретист нашей эпохи, нашел случай применить и в Кремле свой метод наводящих вопросов, в которых умеренная психологическая проницательность сочетается с политической осторожностью. Любите ли вы природу, синьор Муссолини? Как вы относитесь к Шопенгауэру, господин Масарик? Верите ли вы в лучшее будущее, мистер Рузвельт? Во время подобной словесной пытки Сталин, в состоянии замешательства перед прославленным иностранцем, усердно рисовал цветочки и кораблики цветным карандашом. Так, по крайней мере, рассказывает Людвиг. На сухой руке Вильгельма Гогенцоллерна этот писатель построил психоаналитиче-

скую биографию бывшего кайзера, к которой старик Фрейд отнесся, правда, с ироническим недоумением. У Сталина Людвиг не заметил сухой руки и сросшихся пальцев на ноге. Зато он сделал попытку вывести революционную карьеру кремлевского хозяина из тех побоев, которые в детстве наносил ему отец. После ознакомления с мемуарами Иремашвили нетрудно понять, откуда почерпнул Людвиг свою догадку. «Что сделало вас мятежником? Может быть, это произошло потому, что ваши родители плохо обращались с вами?» Сталин ответил на этот вопрос отрицательно: «Нет! Мои родители были простые люди, но они совсем не плохо обращались со мной». Придавать этим словам документальную ценность было бы, однако, опрометчиво. Не только потому, что утверждения и отрицания Сталина, как мы будем иметь еще много случаев убедиться, вообще легко меняются местами. В аналогичном положении всякий другой поступил бы, вероятно, так же. Вряд ли, во всяком случае, можно упрекать Сталина за то, что он отказался публично жаловаться на своего давно умершего отца. Скорее приходится удивляться почтительной неделикатности писателя.

Семейные испытания не были, однако, единственным фактором, формировавшим жесткую, своевольную и мстительную личность мальчика. Более широкие влияния среды действовали в том же направлении. Один из биографов Сталина рассказывает, как к убогому дому сапож-

ника подъезжал иногда на горячем коне светлейший князь Амилахвари для починки только что порвавшихся на охоте дорогих сапог и как сын сапожника, с обильной шевелюрой над низким лбом, пронизывал ненавидящими глазами пышного князя, сжимая детские кулачки. Сама по себе эта живописная сценка относится, надо думать, к области фантазии. Однако контраст между окружающей бедностью и относительной пышностью последних грузинских феодалов не мог не войти в сознание мальчика остро и навсегда.

В самом городском населении дело обстояло не многим лучше. Высоко поднимаясь над низами, уездное начальство правило городом именем царя и его кавказского наместника, князя Голицына, зловещего сатрапа, который пользовался всеобщей и заслуженной ненавистью. С уездными властями связаны были помещики и купцы-армяне. Но и основная плебейская масса населения, несмотря на общий низкий уровень ее, отчасти вследствие низкого уровня, разделялась кастовыми перегородками. Всякий, кто чуть поднимался над другими, зорко охранял свой ранг. Недоверие диди-лильского крестьянина к городу должно было превратиться в Гори во враждебное отношение убогого ремесленника к тем более зажиточным семьям, где Кеке приходилось шить и стирать. Не менее грубо давала себя знать социальная градация и в школе, где дети священников, мелких дворян и чиновни-

ков не раз обнаруживали перед Иосифом, что он им не чета. Как видно из рассказа Гогохия, сын сапожника рано и остро почувствовал унижительность социального неравенства: «Он не любил ходить к людям, живущим зажиточно. Несмотря на то, что я бывал у него по несколько раз в день, он подымался ко мне очень редко, потому что дядя мой жил, по тем временам, богато». Таковы первые источники пока еще инстинктивного социального протеста, который в атмосфере политического брожения страны должен был позже превратить семинариста в революционера.

Низший слой мелкой буржуазии знает две высоких карьеры для единственных или одаренных сыновей: чиновника и священника. Мать Гитлера мечтала о карьере пастора для сына. С той же мыслью носилась, лет на десять раньше, в еще более скромной среде, Екатерина Джугашвили. Самая эта мечта: увидеть сына в рясе показывает, кстати, насколько мало была проникнута семья сапожника Бесо «пролетарским духом». Лучшее будущее мыслилось не как результат борьбы класса, а как результат разрыва с классом.

Православное духовенство, несмотря на свой достаточно низкий социальный ранг и культурный уровень, принадлежало к числу привилегированных сословий, так как было свободно от воинской повинности, личных податей и... розги.

Только отмена крепостного права открыла крестьянам доступ в ряды духовенства, обусловив, однако, эту привилегию полицейским ограничением: для назначения на церковную должность сыну крестьянина требовалось особое разрешение губернатора.

Будущие священники воспитывались в нескольких десятках семинарий, подготовительной ступенью к которым служили духовные училища. По своему месту в государственной системе образования семинарии приравнивались к средним учебным заведениям, с той разницей, что светские науки призваны были служить в них лишь скромной опорой богословию. В старой России знаменитые бурсы славились ужасающей дикостью нравов, средневековой педагогикой и кулачным правом, не говоря уже о грязи, холоде и голоде. Все пороки, осуждаемые Священным писанием, процветали в этих рассадниках благочестия. Писатель Помяловский навсегда вошел в русскую литературу как правдивый и жестокий автор «Очерков бурсы» (1862 г.). Нельзя не привести здесь слов, которые биограф говорит о самом Помяловском: «Этот период ученической жизни выработал в нем недоверчивость, скрытность, озлобление и ненависть к окружающей среде». Реформы царствования Александра Второго внесли, правда, известные улучшения даже в наиболее затхлую область церковного образования. Тем не менее и в конце прошлого века духовные учили-

ща, особенно в далеком Закавказье, оставались наиболее мрачными пятнами на «культурной» карте России.

Царское правительство давно и не без крови сломило независимость грузинской церкви, подчинив ее петербургскому Синоду. Однако в низах грузинского духовенства сохранялась вражда к русификаторам. Порабощение церкви потрясло традиционную религиозность грузин и подготовило почву для влияния социал-демократии не только в городе, но и в деревне. Тем более спертая атмосфера царила в духовных школах, которые должны были не только русифицировать своих воспитанников, но и подготовить их к роли церковной полиции душ. Отношения между учителями и учениками были проникнуты острым духом враждебности. Занятия велись на русском языке, грузинский преподавался всего два раза в неделю и нередко третировался как язык низшей расы.

В 1890 году, очевидно вскоре после смерти отца, одиннадцатилетний Сосо вступил в духовное училище с ситцевой сумкой под мышкой. По словам товарищей, мальчик проявлял большое рвение в изучении катехизиса и молитв. Гогохия отмечает, что благодаря своей исключительной памяти Сосо запоминал уроки со слов учителя и не нуждался в повторении. На самом деле память Сталина, по крайней мере теоретически, весьма посредственна. Но все равно: чтоб запоминать в классе, нужно было отличаться ис-

ключительным вниманием. В тот период священнический сан был, очевидно, венцом честолюбия для самого Сосо. Воля подстегивала способности и память. Другой товарищ по школе, Капанадзе, свидетельствует, что за 13 лет ученичества и за дальнейшие 35 лет учительской деятельности ему ни разу «не приходилось встречать такого одаренного и способного ученика», как Иосиф Джугашвили. Воспоминания Капанадзе вообще страдают избытком усердия. Но и Иремашвили, писавший свою книжку не в Тифлисе, а в Берлине, утверждает, что Сосо был лучшим учеником в духовном училище. В других показаниях есть, однако, существенные оттенки. «В первые годы, в приготовительных отделениях, — рассказывает Глурджидзе, — Иосиф учился отлично, и дальше все ярче раскрывались его способности, — он стал одним из первых учеников». В статье, которая имеет характер заказанного сверху панегирика, осторожная формула: «один из первых» слишком ясно показывает, что Иосиф не был первым, не выделялся из класса, не был учеником из ряда вон. Такой же характер носят воспоминания другого школьного товарища, Елисабедашвили: «Иосиф, — говорит он, — был одним из самых бедных и самых способных». Значит, не самый способный. Остается предположить, что в разных классах дело обстояло неодинаково или что некоторые авторы воспоминаний, принадлежа к арьергарду науки, плохо различали первых учеников.

Не уточняя того места, какое занимал в классе Иосиф, Гогохия утверждает, что по своему развитию и занятиям он стоял «намного выше своих школьных товарищей». Сосо перечитал все, что было в школьной библиотеке — произведения грузинских и русских классиков, разумеется, тщательно просеянные начальством. На выпускных экзаменах Иосиф был награжден похвальным листом, «что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом». Поистине замечательный штрих!

В общем, написанные в Тифлисе воспоминания о «юных годах вождя» малосодержательны. «Сосо втягивал нас в хор и своим звонким, приятным голосом запевал любимые народные песни». При игре в мяч «Иосиф умел подбирать лучших игроков, и наша группа поэтому всегда выигрывала». «Иосиф научился отлично рисовать». Ни одно из этих качеств, видимо, не получило в дальнейшем развития: Иосиф не стал ни певцом, ни спортсменом, ни рисовальщиком. Еще менее убедительно звучат такие отзывы: «Иосиф Джугашвили отличался большой скромностью и был хорошим, чутким товарищем». «Он никогда не давал чувствовать свое превосходство» и так далее. Если все это верно, то пришлось бы заключить, что с годами Иосиф превратился в свою противоположность.

Воспоминания Иремашвили несравненно живее и ближе к правде. Он рисует своего тезку долговязым, жилистым, веснушчатым мальчиком, исключительно по настойчивости, замкнутости и властолюбию умевшим добиваться поставленной цели, шло ли дело о командовании над товарищами, о метании камней или о карабкании по скалам. Сосо отличался горячей любовью к природе, но не чувствовал привязанности к ее живым существам. Сострадание к людям или животным было ему чуждо: «Я никогда не видел его плачущим». «Для радостей или горестей товарищей Сосо знал только саркастическую усмешку». Все это, может быть, слегка отшлифовалось в памяти, как камень в потоке, но это не выдуманно.

Иремашвили впадает, однако, в несомненную ошибку, когда приписывает Иосифу мятежное поведение уже в горийской школе. В качестве вожака ученических протестов, в частности, кошачьего концерта против «ненавистного инспектора Бутырского», Сосо подвергался будто бы чуть не ежедневным наказаниям. Между тем, авторы официальных воспоминаний на этот раз явно без предвзятой цели рисуют Иосифа за эти годы примерным учеником также и по поведению. «Обычно он был серьезен, настойчив, — пишет Гогохия, — не любил шалостей и озорства. После занятий спешил домой, и всегда его видели за книгой». По словам Гогохия, Иосиф получал от школы ежемесячную стипендию, что